



## ПЫШКА

Несколько дней подряд через город проходили остатки разбитой армии. Это было не войско, а беспорядочные орды. У солдат отросли длинные неопрятные бороды, мундиры их были изорваны; двигались они вялым шагом, без знамен, вразброд. Все они были явно подавлены, измучены, не способны ни мыслить, ни действовать и шагали только по инерции, падая от усталости при первой же остановке. Особенно много было ополченцев — мирных людей, безобидных рантье, изнемогавших под тяжестью винтовки, и мобилей, в равной мере доступных страху и воодушевлению, готовых и к атаке и к бегству; кое-где среди них мелькали красные шаровары — остатки дивизии, искрошенной в большом сражении; в ряду с пехотинцами различных полков попадались и мрачные артиллеристы, а изредка мелькала блестящая каска драгуна, который с трудом поспевал тяжелой поступью за более легким шагом пехоты.

Проходили и дружины вольных стрелков, носившие героические наименования: «Мстители за поражение», «Причастники смерти», «Граждане могилы», но вид у них был самый разбойничий.

Их начальники, еще недавно торговавшие сукнами или зерном, бывшие продавцы сала или мыла, случайные воины, произведенные в офицеры за деньги или

за длинные усы, облаченные в мундиры с галунами и увешанные оружием, шумно разглагольствовали, обсуждали планы кампании, самодовольно утверждая, что их плечи — единственная опора гибнущей Франции, а между тем они нередко опасались своих же собственных солдат, подчас не в меру храбрых, — висельников, грабителей и распутников.

Поговаривали, что пруссаки вот-вот вступят в Руан.

Национальная гвардия, которая последние два месяца производила весьма робкую разведку в соседних лесах, — причем иногда подстреливала своих собственных часовых и начинала готовиться к бою, стоило только какому-нибудь зайчонку завозиться в кустах, — теперь вернулась к домашним очагам. Ее оружие, мундиры, все смертоносное снаряжение, которым она еще недавно пугала верстовые столбы больших дорог на три лье в округе, внезапно куда-то исчезло.

Последние французские солдаты переправились наконец через Сену, следуя в Пон-Одемер через Сен-Север и Бур-Ашар; а позади всех, пешком, плелся генерал с двумя адъютантами; он совершенно пал духом, не знал, что предпринять с такими разрозненными кучками людей, и сам был ошеломлен великим поражением народа, привыкшего побеждать и безнадежно разбитого, несмотря на свою легендарную храбрость.

Затем над городом нависла глубокая тишина, безмолвное, жуткое ожидание. Многие буржуа, разжиревшие и утратившие всякую мужественность у себя за прилавком, с тревогой ждали победителей, боясь, как бы не сочли за оружие их вертела для жаркого и большие кухонные ножи.

Жизнь, казалось, замерла; лавочки закрылись, улицы стали безмолвны. Изредка вдоль стен торопливо пробирался прохожий, напуганный этой зловещей тишиной.

Ожидание было томительно, хотелось, чтобы неприятель появился уж поскорее.

На другой день после ухода французских войск, к вечеру, по городу промчалось несколько уланов, прискакавших неведомо откуда. А немного позже по склону Сент-Катрин скатилась черная лавина; два других потока хлынули со стороны дарнетальской и буагий-омской дорог. Авангарды трех корпусов одновременно появились на площади у ратуши, и по всем соседним улицам целыми батальонами стала прибывать немецкая армия; мостовая гудела от размеренной солдатской поступи.

Слова команды, выкрикиваемые непривычными гортанными голосами, разносились вдоль домов, которые казались вымершими и покинутыми, а между тем из-за прикрытых ставней чьи-то глаза украдкой разглядывали победителей, людей, ставших «по праву войны» хозяевами города, имущества и жизней. Обыватели, сидевшие в полутемных комнатах, были охвачены тем ужасом, какой вызывают стихийные бедствия, великие и разрушительные геологические перевороты, перед лицом которых бессильны вся мудрость и мощь человека. Это чувство одинаково возникает всякий раз, когда ниспровергается установленный порядок, когда утрачивается сознание безопасности, когда все, что охранялось человеческими законами или законами природы, оказывается во власти бессмысленной, яростной силы. Землетрясение, погребавшее горожан под развалинами зданий, разлив реки, влекущей утонувших крестьян вместе с трупами волов и сорванными стропилами крыш, или победоносная армия, которая истребляет всех, кто защищается, уводит остальных в плен, грабит во имя меча и под грохот пушек возносит благодарение какому-то божеству, — все это страшные бичи, подрывающие веру в извечную справедливость и во внушаемое нам с детства упование на благодать небес и разум человека.

Но в каждую дверь уже стучались, а потом входили в дома небольшие отряды. За нашествием следовала

оккупация. У побежденных оказывалась новая обязанность: проявлять любезность к победителям.

Прошло некоторое время, утих первый порыв страха, и снова воцарилось спокойствие. Во многих семьях прусский офицер ел за общим столом. Иной раз это был благовоспитанный человек; он из вежливости жалел Францию, говорил, что ему тяжело участвовать в этой войне. Немцу были признательны за такие чувства; к тому же в любой день могло понадобиться его покровительство. Угождая ему, пожалуй, можно избавиться от постоя нескольких лишних солдат. Да и к чему задевать человека, от которого всецело зависишь? Ведь это было бы скорее безрассудство, чем храбрость. А руанские буржуа уже давно не страдают безрассудством, как в былые времена героических оборон, прославивших этот город. И наконец, каждый приводил неоспоримый довод, подсказанный французской учтивостью: у себя дома вполне допустимо быть вежливым с иноземным солдатом, лишь бы на людях не выказывать близости с ним. На улице его не узнавали, зато дома охотно беседовали с ним, и немец день ото дня все дольше засиживался по вечерам, греясь у семейного камелька.

Город мало-помалу принимал обычный вид. Французы еще избегали выходить из дому, зато улицы кишели прусскими солдатами. Впрочем, офицеры голубых гусар, заносчиво волочившие по тротуарам свои длинные орудия смерти, по-видимому, презирали простых горожан не многим больше, чем офицеры французских егерей, кутившие в тех же кофейнях год назад.

И все же в воздухе чувствовалось нечто неуловимое и непривычное, тяжелая, чуждая атмосфера, словно разлитой повсюду запах, — запах нашествия. Он заполнял жилища и общественные места, сообщал особый привкус кушаньям, порождал такое ощущение, будто путешествуешь по далекой-далекой стране, среди кроважных диких племен.

Победители требовали денег, много денег. Обывателям приходилось платить без конца; впрочем, они были богаты. Но чем состоятельнее нормандский коммерсант, тем сильнее страдает он от малейшего ущерба, от сознания, что малейшая крупница его достояния переходит в чужие руки.

А между тем за городом, в двух-трех лье вниз по течению, возле Круассе, Дьепдаля или Бьессара, лодочники и рыбаки не раз вылавливали с речного дна вздувшиеся трупы немцев в мундирах, то убитых ударом кулака, то зарезанных, то с проломленной камнем головой, то просто сброшенных в воду с моста. Речной ил окутывал саваном эти жертвы тайной, дикой и законной мести, безвестного героизма, бесшумных нападений, более опасных, чем сражения средь бела дня, и лишенных ореола славы.

Ибо ненависть к чужеземцу искони вооружает горсть Бесстрашных, готовых умереть за идею.

Но так как завоеватели, хотя и подчинившие город своей непреклонной дисциплине, все же не совершили ни одной из тех чудовищных жестокостей, которые молва неизменно приписывала им во время их победоносного шествия, жители в конце концов осмелели, и потребность торговых сделок снова ожила в сердцах местных коммерсантов. Некоторые из них были связаны крупными денежными интересами с Гавром, занятым французской армией, и вздумали сделать попытку пробраться в этот порт, — доехать сушею до Дьепа, а там сесть на пароход.

Было использовано влияние знакомых немецких офицеров, и комендант города дал разрешение на выезд.

Для этого путешествия, на которое записалось десять человек, был нанят большой дилижанс с четверкой лошадей, и решено было выехать во вторник утром, до рассвета, чтобы избежать всякого рода сборищ.

За последние дни мороз уже сковал землю, а в понедельник около трех часов с севера надвинулись большие черные тучи; они принесли с собой снег, который шел беспрерывно весь вечер и всю ночь.

Утром в половине пятого путешественники собрались во дворе «Нормандской гостиницы», где должны были сесть в карету.

Они еще не совсем проснулись и кутались в пледы, дрожа от холода. В темноте они еле различали друг друга, а тяжелые зимние одежды делали их всех похожими на тучных кюре в длинных сутанах. Но вот двое мужчин узнали один другого, к ним подошел третий, и они разговорились.

— Я увожу с собой жену, — сказал один из них.

— Я тоже.

— И я тоже.

Первый добавил:

— В Руан мы уже не вернемся, а если пруссаки подойдут к Гавру, переедем в Англию.

У всех были одинаковые намерения, так как это были люди одного склада.

Карету между тем все не закладывали. Фонарик конюха время от времени показывался из одной темной двери и немедленно исчезал в другой. Из глубины конюшни доносились лошадиный топот, приглушенный навозом и соломенной подстилкой, и мужской голос, понукавший и бранивший лошадей. По легкому позвякиванию бубенчиков можно было догадаться, что прилаживают сбрую; позвякивание вскоре перешло в отчетливый, беспрерывный звон, вторивший размерным движениям лошади; иногда он замирал, затем возобновлялся после резкого рывка, сопровождавшегося глухим стуком подкованного копыта о землю.

Внезапно дверь затворилась. Все стихло. Промерзшие путники умолкли; они стояли не двигаясь, оцепенев от холода.

Сплошная завеса белых хлопьев беспрерывно искрилась, опускаясь на землю; она ступшеывала все очертания, опушила все предметы льдистым мхом; в великом безмолвии затихшего города, погребенного под покровом зимы, слышался лишь неясный, неизъяснимый, зыбкий шелест падающего снега — скорее намек на звук, чем самый звук, легкий шорох белых атомов, которые, казалось, заполняли все пространство, окутывали весь мир.

Человек с фонарем снова появился, таща на поводу понурую, нехотя переступавшую лошадь. Он поставил ее возле дышла, привязал постромки и долго суетился возле нее, укрепляя сбрую одной рукой, так как в другой держал фонарь. Направляясь за второй лошадью, он заметил неподвижные фигуры путешественников, совсем побелевшие от снега, и сказал:

— Что же вы не сядете в дилижанс? Там хоть от снега укроетесь.

Они, вероятно, не подумали об этом и теперь все сразу устремились к дилижансу. Трое мужчин разместили своих жен в глубине экипажа и влезли сами; потом на оставшихся местах молча расположились прочие смутные, расплывчатые фигуры.

На полу дилижанса была настлана солома, в которой тонули ноги. Дамы, сидевшие в глубине кареты, захватили с собой медные грелки с химическим углем; теперь они разожгли эти приборы и некоторое время шепотом перечисляли друг другу их достоинства, повторяя все то, что каждой из них было давно известно.

Наконец, когда дилижанс был запряжен ввиду трудности дороги шестеркой лошадей вместо обычных четырех, чей-то голос снаружи спросил:

— Все на местах?

Голос изнутри ответил:

— Все.

Тогда тронулись в путь.



Дилижанс тащился медленно-медленно, почти шагом. Колеса вязли в снегу; кузов стонал и глухо потрескивал; лошади скользили, храпели, от них валил пар; длинный кнут возницы без усталости хлопал, летал во все стороны, свиваясь и разворачиваясь, как змейка, и вдруг стегал по какому-нибудь выпрыгнувшему крупу, который после этого напрягался в новом усилии.

Постепенно рассветало. Легкие снежинки — те, что один из пассажиров, чистокровный руанец, сравнил с дождем хлопка, — перестали сыпаться на землю. Мутный свет просочился сквозь большие, темные и грузные тучи, которые резко оттеняли ослепительную белизну полей, где виднелись то ряд высоких деревьев, подернутых инеем, то хибарка под снежной шапкой.

При свете этой унылой зари пассажиры стали с любопытством приглядываться к соседям.

В глубине кареты, на лучших местах, друг против друга дремали супруги Луазо, оптовые виноторговцы с улицы Гран-Пон.

Луазо, бывший приказчик, купил предприятие у своего обанкротившегося хозяина и нажил большое состояние. Он по самой низкой цене продавал мелким провинциальным торговцам самое дрянное вино и слыл среди друзей и знакомых за отъявленного плута, за настоящего нормандца — хитрого и жизнерадостного.

Репутация мошенника настолько упрочилась за ним, что как-то на вечере в префектуре г-н Турнель, сочинитель басен и куплетов, остряк и задира, местная знаменитость, предложил дремавшим от скуки дамам сыграть в игру «птичка летает»<sup>1</sup>; шутка облетела гостиную префекта, отсюда проникла в гостиные горожан, и целый месяц вся округа покатывалась от хохота.

---

<sup>1</sup> По-французски l'oiseau vole (птичка летает) звучит так же, как Loiseau vole (Луазо ворует). — *Здесь и далее примеч. пер.*

Помимо этого, Луазо славился всевозможными забавными выходками, а также остротами, то удачными, то плоскими, и всякий, заговорив о нем, неизменно прибавлял:

— Что ни говори, Луазо прямо-таки неподражаем!

Он был невысокого роста и, казалось, состоял из одного шарообразного живота, над которым красовалась румяная физиономия, обрамленная седеющими бачками.

Его жена, рослая, дородная, решительная женщина, отличающаяся резким голосом и крутым нравом, была воплощением отчетности и порядка в их торговом доме, тогда как сам Луазо оживлял его своею жизнерадостной суетней.

Возле них с явным сознанием своего достоинства и высокого положения восседал г-н Карре-Ламадон, фабрикант, особа значительная в хлопчатобумажной промышленности, владелец трех бумагопрядилен, офицер Почетного легиона и член генерального совета. Во время Империи он возглавлял благонамеренную оппозицию с единственной целью получить впоследствии побольше за присоединение к тому строю, с которым он боролся, по его выражению, оружием учтивости. Г-жа Карре-Ламадон, будучи гораздо моложе своего супруга, служила утешением для назначенных в руанский гарнизон офицеров из хороших семей.

Она сидела напротив мужа, миниатюрная, хорошенькая, закутанная в меха, и уныло разглядывала убогую внутренность дилижанса.

Соседи ее, граф Юбер де Бревиль с супругой, носили одно из самых старинных и знатных нормандских имен. Граф, пожилой дворянин с величественной осанкой, старался ухищрениями костюма подчеркнуть свое природное сходство с королем Генрихом IV, от которого, согласно лестному фамильному преданию, забеременела некая дама де Бревиль, а муж ее по сему поводу получил графский титул и губернаторство.

Граф Юбер, коллега г-на Карре-Ламадона по генеральному совету, представлял орлеанистскую партию департамента. История его женитьбы на дочери мелкого нантского судовладельца навсегда осталась загадкой. Но так как графиня обладала величественными манерами, принимала лучше всех и даже слыла за бывшую любовницу одного из сыновей Луи-Филиппа, вся знать ухаживала за нею, и ее салон считался первым в департаменте, единственным, где еще сохранилась старинная любезность и попасть в который было нелегко.

Имущество Бревилей, почти целиком состоявшее из недвижимости, приносило, по слухам, пятьсот тысяч ливров годового дохода.

Эти шесть персон занимали глубину кареты и олицетворяли обеспеченный, уверенный в себе и могущественный слой общества, слой людей порядочных, влиятельных, верных религии, с твердыми устоями.

По странной случайности, все женщины разместились на одной скамье, и рядом с графиней сидели две монахини, перебиравшие длинные четки и шептавшие «Pater» и «Ave»<sup>1</sup>. Одна из них была пожилая, с изрытым оспою лицом, словно в нее некогда в упор выстрелили дробью. У другой, тщедушной, было красивое и болезненное лицо и чахоточная грудь, которую терзала та всепоглощающая вера, что создает мучениц и фанатиков.

Всеобщее внимание привлекали мужчина и женщина, сидевшие против монахинь.

Мужчина был хорошо известный Корнюде, демократ, пугало всех почтенных людей. Уже добрых двадцать лет окунал он свою длинную рыжую бороду в пивные кружки всех демократических кафе. Он прокутил со своими собратьями и друзьями довольно крупное состояние, унаследованное от отца, бывше-

---

<sup>1</sup> «Отче наш» и «Богородица» (лат.).

го кондитера, и с нетерпением ждал установления республики, чтобы получить наконец место, заслуженное столькими революционными возлияниями. Четвертого сентября, быть может, в результате чьей-нибудь шутки, он счел себя назначенным на должность префекта; но когда он вздумал приступить к исполнению своих обязанностей, писаря, ставшие единственными хозяевами префектуры, отказались его признать, и ему пришлось ретироваться. Будучи, в общем, добрым малым, безобидным и услужливым, он с необычайным рвением принялся за организацию обороны. Под его руководством в полях вырыли волчьи ямы, в соседних лесах вырубали молодые деревья и все дороги усеяли западнями; удовлетворенный принятыми мерами, он с приближением врага поспешно отступил к городу. Теперь он полагал, что гораздо больше пользы принесет в Гавре, где также придется рыть траншеи.

Женщина — из числа так называемых особ легкого поведения — славилась своею преждевременной полнотой, которая стяжала ей прозвище Пышки. Маленькая, вся кругленькая, заплывшая жирком, с пухлыми пальчиками, перетянутыми в суставах наподобие связки коротеньких сосисок, с лоснящейся, натянутой кожей, с необъятной грудью, выдававшей под платьем, она была еще аппетитна, и за нею увивалось немало мужчин: до такой степени радовала глаз ее свежесть. Лицо ее напоминало румяное яблоко, готовый распуститься бутон пиона, на нем выделялись великолепные черные глаза, осененные длинными густыми ресницами, а потому казавшиеся еще темнее, и прелестный маленький влажный рот с мелкими блестящими зубками, так и созданный для поцелуя.

По слухам, она отличалась и многими другими неопределимыми достоинствами.

Как только ее узнали, между порядочными женщинами началось шушуканье; слова «девка», «какой срам!»